

М.А. Шолохов

Чужая кровь

В Филипповку, после заговенья, выпал первый снег. Ночью из-за Дона подул ветер, зашуршал в степи обыневшим краснобылом, лохматым сугробам заплел косы и догола вылизал кочковатые хребтины дорог.

Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханая, забурьяневшая.

В полночь в ярах глухо завыл волк, в станице откликнулись собаки, и дед Гаврила проснулся. Свесив с печки ноги, держась за комель, долго кашлял, потом сплюнул и нащупал кисет.

Каждую ночь после первых кочетов просыпается дед, сидит, курит, кашляет, с хрипом отрывая от легких мокроту, а в промежутках между приступами удушья думки идут в голове привычной, хоженной стежкой. Об одном думает дед — о сыне, пропавшем в войну без вести.

Был один — первый и последний. На него работал не покладая рук. Время приспело провожать на фронт против красных, — две пары быков отвел на рынок, на выручку купил у калмыка коня строевого, не конь — буря степная, летучая.

Достал из сундука седло и уздечку дедовскую с серебряным набором. На проводах сказал:

— Ну, Петро, справил я тебя, не стыдно и офицеру с такой справой идтить... Служи, как отец твой служил, войско казацкое и тихий Дон не страми! Деда и прадеды твои службу царям несли, должен и ты!..

Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру, — какой по двору шарит, неположенного ищет, — прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернуться...

На проводах служивого гремели казаки под камышовой крышей Гаврилиного дома старинной казачьей песней:

А мы бьем, не портим боевой порядок.
Слу-ша-ем один да приказ.
И что нам прикажут отцы-командиры,
Мы туда идем — рубим, колем, бьем!..

За столом сидел Петро, хмельной, иссиня-бледный, последнюю рюмку, «стременную», выпил, устало зажмурил глаза, но на коня твердо сел. Шашку поправил и, с седла перегнувшись, горсть земли с родимого база взял. Где-то теперь лежит он и чья земля на чужбинке греет ему грудь?

Кашляет дед тягуче и сухо, мехи в груди на разные лады хрипят-вызванивают, а в промежутках, когда, откашлявшись, прислонится сгорбленной спиной к комелю, думки идут в голове знакомой, хоженной стежкой.

* * *

Проводил сына, а через месяц пришли красные. Вторглись в казачий исконный быт врагами, жизнь дедову, обычную, вывернули наизнанку, как порожний карман. Был Петро по ту сторону фронта, возле Донца, усердием в боях заслуживал урядницкие погоны, а в станице дед Гаврила на москалей, на красных вынашивал, кохал, нянчил — как Петра, белоголового сынишку, когда-то — ненависть стариковскую, глухую.

Назло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар. Чекмень надевал с гвардейским

оранжевым позументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты, полученные за то, что служил монарху верой и правдой; шел по воскресеньям в церковь, распахнув полы полушубка, чтоб все видали.

Председатель Совета станицы при встрече как-то сказал:

— Сыми, дед, висюльки! Теперь не полагается.

Порохом пыхнул дед:

— А ты мне их вешал, что сымать-то велишь?

— Кто вешал, давно небось в земле червей продовольствует.

— И пушай!.. А я вот не сыму! Рази с мертвого сдерешь?

— Сказанул тоже... Тебя же жалеючи, советую, по мне, хоть спи с ними, да ить собаки... собаки-то штаны тебе облагают! Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признают свово...

Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родниться начала.

Пропал сын — некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках, по-своему захозяйствовали мыши, под навесом ржавела косилка.

Лошадей брали перед уходом казаки, остатки добирали красные, а последнюю, лохмоногую и ушастую, брошенную красноармейцами в обмен, осенью за один огляд купили махновцы. Взамен оставили деду пару английских обмоток.

— Пушай уж наше переходит! – подмигивал махновский пулеметчик. – Богатей, дед, нашим добром!..

Прахом дымилось все нажитое десятками лет. Руки падали в работе; но весной, — когда холостеющая степь ложилась под ногами, покорная и истомная, манила деда земля, звала по ночам властным, неслышным зовом. Не мог противиться, запрягал быков в плуг, ехал, полосовал степь сталью, обсеменял ненасытную черноземную утробу ядреной пшеницей-гиркой.

Приходили казаки от моря и из-за моря, но никто из них не видал Петра.

В разных полках с ним служили, в разных краях бывали, — мала ли Россия? — а однополчане-станичники Петра полком легли в бою со Жлобинским отрядом на Кубани где-то.

Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила.

Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала.

— Ты чего, старая? – спросит кряхтя.

Помолчит та немного, откликнется:

— Должно, угар у нас... голова что-то прибаливает.

Не показывал виду, что догадывается, советовал:

— А ты бы рассольцу из-под огурцов. Сем-ка, я слазю в погреб, достану?

— Спи уж. Пройдет и так!..

И снова тишина расплеталась в хате незримой кружевной паутиной. В оконце месяц нагло засматривал, на чужое горе, на материнскую тоску любуясь.

Но все же ждали и надеялись, что придет сын. Овчины отдал Гаврила выделывать, старухе говорит:

— Мы с тобой перебьемся и так, а Петро придет, что будет носить? Зима заходит, надо ему полушубок шить.

Сшили полушубок на Петров рост и положили в сундук. Сапоги расхожие — скотину убирать — ему сготовили. Мундир свой синего сукна берег дед, табаком пересыпал, чтобы моль не посекала, а зарезали ягненка — из овчинки папаху сшил сыну дед и повесил на гвоздь. Войдет с надворья, глянет, и кажется, будто выйдет сейчас Петро из горницы, улыбнется, спросит: «Ну как, батя, холодно на базу?»

Дня через два после этого перед сумерками пошел скотину убирать. Сена в ясли наметал, хотел воды из колодца почерпнуть — вспомнил, что забыл варежки в хате.

Вернулся, отворил дверь и видит: старуха на коленях возле лавки стоит, папаху Петрову неношеную к груди прижала, качает, как дитя баюкает...

В глазах потемнело, зверем кинулся к ней, повалил на пол, прохрипел, пену глотая с губ:

— Брось, подлюка!.. Брось!.. Что ты делаешь?!

Вырвал из рук папаху, в сундук кинул и замок навесил. Только стал примечать, что с той поры левый глаз у старухи стал дергаться и рот покривило.

Текли дни и недели, текла вода в Дону, под осень прозрачно-зеленая, всегда торопливая.

В этот день замерзли на Дону окраинцы. Через станицу пролетела припозднившаяся ватага диких гусей. Вечером прибежал к Гавриле соседский парень, на образа второпях перекрестился.

— Здорóво дневали!

— Слыхал, дедушка? Прохор Лиховидов из Турции пришел. Он ить с вашим Петром в одном полку служил!..

Спешил Гаврила по проулку, задыхаясь от кашля и быстрой ходьбы. Прохора не застал дома: уехал на хутор к брату, обещал вернуться к завтраму.

Ночь не спал Гаврила. Томился на печке бессонницей.

Перед светом зажег жирник, сел подшивать валенки.

Утро — бледная немочь — точит с сизого восхода чахлый рассвет. Месяц загоревал посреди неба, сил не хватило дошагать до тучки, на день прихорониться.

* * *

Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом:

— Прохор идет! Вошел он, на казака не похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованые английские ботинки, в мешковато сидело пальто чудного покроя, с чужого плеча, как видно.

— Здорóво живешь, Гаврила Василич!..

— Слава богу, служивый!.. Проходи, садись.

Прохор снял шапку, поздоровался со старухой и сел на лавку, в передний угол.

— Ну, и погодка пришла, снегу надуло — не пройдешь!..

— Да, снега нынче рано упали... В старину в эту пору скотина на подножном корму ходила.

На минутку тягостно замолчали. Гаврила, с виду равнодушный и твердый, сказал:

— Постарел ты, парень, в чужих краях!

— Молодеть-то не с чего было, Гаврила Василич! — улыбнулся Прохор.

Заикнулась было старуха:

— Петра нашего...

— Замолчи-ка, баба!.. — строго прикрикнул Гаврила. — Дай человеку опомниться с морозу, успеешь... узнать!..

— Ну как, Прохор Игнатич, протекала ваша жизнь?

— Хвалиться нечем. Дотянул до дому, как кобель с отбитым задом, и то — слава богу.

— Та-а-к... Плохó у турка жилось, значит?

— Концы с концами насилу связывали. — Прохор побарабанил по столу пальцами. — Однако и ты, Гаврила Василич, дюже постарел, седина вон как обрызгала тебе голову... Как вы тут живете при Советской власти?

— Сына вот жду... стариков, нас докармливать... — криво улыбнулся Гаврила.

Прохор торопливо отвел глаза в сторону. Гаврила приметил это, спросил резко и прямо:

— Говори: где Петро?

— А вы разве не слышали?

— По-разному слышали, – отрубил Гаврила.

Прохор свил в пальцах грязную бахромку скатерти, заговорил не сразу:

— В январе, кажись... Ну да, в январе, стояли мы сотней возле Новороссийского... Город такой у моря есть... Ну, обнаковенно стояли...

— Убит, что ли?.. – нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила.

Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно и не слышал вопроса.

— Стояли, а красные прорывались к горам: к зеленым на соединенье. Назначает его, Петра вашего, командир сотни в разъезд... Командиром у нас был подьесаул Сенин... Вот тут и случись... понимаете...

Возле печки звонко стукнул упавший чугунок, старуха, вытягивая руки, шла к кровати, крик распирает ей горло.

— Не вой!! – грозно рявкнул Гаврила и, облокотясь о стол, глядя на Прохора в упор, медленно в устало проговорил: — Ну, кончай!

— Срубили!.. – бледнея, выкрикнул Прохор и встал, нащупывая на лавке шапку. – Срубили Петра... насмерть... Остановились они возле леса, коням передышку давали, он подругу на седле отпустил, а красные из лесу... – Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мямля шапку. – Петро черк за луку, а седло коню под пузо... Конь горячий... не сдержал, остался... Вот и все!..

— А ежели я не верю?.. – раздельно сказал Гаврила.

Прохор, не оглядываясь, торопливо пошел к двери.

— Как хотите, Гаврила Василич, а я истинно... Я правду говорю... Гольную правду... Своими глазами видал...

— А ежели я не хочу этому верить?! – багровея, захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью и слезами. Разодрав у ворота рубаху, он голой волосатой грудью шел на оробевшего Прохора, стонал, запрокидывая потную голову: — Одного сына убить?! Кормильца?! Петьку мово?! Бреешь, сукин сын!.. Слышишь ты?! Бреешь! Не верю!..

А ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скирда.

Из степи дул ветер, поросил снегом; темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах.

Сынок! – позвал Гаврила вполголоса. Подождал немного и, не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал: — Петро!.. Сыночек!..

Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза.

* * *

В станице поговаривали о подразверстке, о бандах, что шли с низовьев Дона. В исполкоме на станичных сходах шепотом сообщались новости, но дед Гаврила ни разу не ступнул на расшатанное исполкомское крыльцо, надобности не было, потому о многом не слышал, многое не знал. Диковинно показалось ему, когда в воскресенье после обедни появился председатель, с ним трое в желтых куценьких дубленках, с винтовками.

Председатель поручался с Гаврилой и сразу, как обухом по затылку:

— Ну, признавайся, дед: хлеб есть?

— А ты думал как, духом святым кормимся?

— Ты не язви, говори толком: где хлеб?

— В амбаре, само собой.

— Веди.

— Дозволь узнать, какое вы имеете касательство к моему хлебу?

Рослый, белокурый, по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал:

— Излишки забираем в пользу государства. Продразверстка. Слыхал, отец?

— А ежели я не дам? – прохрипел Гаврила, набухая злобой.

— Не дашь? Сами возьмем!..

Пошептались с председателем, полезли по закромам, в очищенную, смугло-золотую пшеницу накидали с сапог снежных ошлепков. Белокурый, закуривая, решил:

— Оставить на семена, на прокорм, остальное забрать. – Оценивающим хозяйским взглядом прикинул количество хлеба и повернулся к Гавриле: — Сколько десятин будешь сеять?

— Чертову лысину засею!.. – засипел Гаврила, кашляя и судорожно кривляясь. – Берите, проклятые!.. Грабьте!.. Все ваше!..

— Что ты, осатанел, что ли, остепенись, дед Гаврила!.. – упрасивал председатель, махая на Гаврилу варежкой.

— Давитесь чужим добром!.. Лопайте!..

Белокурый содрал с усыны оттаявшую сосульку, искоса умным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой:

— Ты, отец, не прыгай! Криком не поможешь. Что ты визжишь, аль на хвост тебе наступили?.. – и, хмуря брови, резко переломил голос: — Языком не трепи!.. Коли длинный он у тебя — привяжи к зубам!.. За агитацию... — Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре, перекосившей пояс, и уже мягче сказал: — Сегодня же свежи на ссып-пункт!

Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого обмяк, понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел — дрогнул от крика дико-хриплого:

— Где продотрядники?!

Повернулся Гаврила — за плетнем, вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени. Не успел рта раскрыть, как конный, увидев стоявших возле амбара, круто осадил лошадь и, неувлимо поведя рукой, рванул с плеча винтовку.

Сочно треснул выстрел, и в тишине, вслед за выстрелом на короткое мгновение облапившей двор, четко сдвоил затвор, патронная гильза вылетела с коротким жужжаньем.

Оцепененье прошло: белокурый, влипая в притолоку, прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер, председатель, приседая по-заячьи, рванулся через двор к гумну, один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов. Гаврила с трудом оторвал от снега словно прилипшие ноги и тяжело затрусил к крыльцу. Оглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно, врассыпную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конные.

Передний, в кубанке, на рыжем жеребце, горбятся, приник к луке и закружил над головой шашку. Перед Гаврилой лебедиными крыльями мелькнули концы его белого башлыка, в лицо кинуло снегом, брызнувшим изпод лошадиных копыт.

Обессиленно прислонясь к резному крыльцу, Гаврила видел, как рыжий жеребец, подобравшись, взлетел через плетень и закружился на дыбках возле початого скирда ячменной соломы, а кубанец, свисая с седла, крест-накрест рубил ползавшего в корчах продотрядника...

На гумне обрывчатый, неясный шум, возня, чей-то протяжный, рыдающий крик. Через минуту гулко стукнул одинокий выстрел. Голуби, вспугнутые было стрельбой и вновь попадавшие на крышу амбара, сорвались в небо фиолетовой дробью. Конные на гумне спешили.

По станице неумолчно плескался малиновый трезвон. Паша — станичный дурачок — взобрался на колокольню и по глупому своему разуму хватил во все колокола, вместо набата вызванивая пасхальную плясовую.

К Гавриле подошел кубанец в наброшенном на плечи белом башлыке. Лицо его, горячее и потное, подергивалось, углы губ слюняво свисали.

— Овес есть?

Гаврила трудно двинулся от крыльца, подавленный виденным, не мог совладать с онемевшим языком.

— Оглох ты, черт?! Овес есть? – спрашиваю. Неси мешок!

Не успели подвести лошадей к корыту с кормом, в ворота вскочил еще один.

— По коням!.. С горы пехота...

Кубанец с проклятием взнуздal облитого дымящимся потом жеребца и долго тер снегом обшлаг своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным.

Со двора их выехало пятеро, в тороках последнего угадал Гаврила желтую, в кровавых узорах дубленку белокурого.

* * *

До вечера за бугром в терновой балке погромыхивали выстрелы. В станице побитой собакой, приниженно лежала тишина. Уже заголубели сумерки, когда Гаврила решился пойти на гумно. Вошел в настезь открытую калитку, увидел: на гуменном прясле, уронив голову, повис настигнутый пулей председатель. Руки его, свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла.

Неподалеку от скирда на снегу, притрушенном объедьями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд. И, глядя на них, уже не ощутил Гаврила в дрогнувшем от ужаса сердце той злобы, что гнездилась там с утра. Казалось небывальщиной, сном, чтобы на гумне, где постоянно разбойничали соседские козы, обдергивая прикладок соломы, теперь лежали изрубленные люди; и от них, от талых круговин примерзшей пупырчатой крови, уже струился-тек запах мертвечины...

Белокурый лежал, неестественно отвернув голову, и если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он отдыхая — так беспечно были закинута его ноги одна за одну.

Второй, щербатый и черноусый, выгнулся, вобрав голову в плечи, оскалась непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу: столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук.

Нагнулся Гаврила над белокурым, взглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости: лежал перед ним мальчишка лет девятнадцати, а не сердитый, с колючими глазами продкомиссар. Под желтеньким пушком усов возле губ стыл иней и скорбная складка, лишь поперек лба темнела морщинка, глубокая и строгая.

Бесцельно тронул рукою голую грудь и качнулся от неожиданности: сквозь ледяной холодок ладонь прощупала потухающее тепло...

Старуха ахнула и, крестясь, шарахнулась к печке, когда Гаврила, кряхтя и стоная, приволок на спине одеревеневшее, кровью почерненное тело.

Положил на лавку, обмыл холодной водой, до устали, до пота тер колючим шерстяным чулком ноги, руки, грудь. Прислонился ухом к гадливо-холодной груди и насили услышал глухой, с долгими промежутками стук сердца.

* * *

Четвертые сутки лежал он в горнице, шафранно-бледный, похожий на покойника. Пересекая лоб и щеку, багровел запекшийся кровью шрам, туго перевязанная грудь качала одеяло, с хрипом и клокотаньем вбирая воздух.

Каждый день Гаврила вставлял ему в рот свой потрескавшийся, зачерствелый палец, концом ножа осторожно разжимал стиснутые зубы, а старуха через камышинку лила подогретое молоко и навар из бараньих костей.

На четвертый день с утра па щеках белокурого зарозовел румянец, к полудню лицо его полыхало, как куст боярышника, зажженный морозом, дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот.

С этой поры стал он несвязно и тихо бредить, порывался вскакать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой.

В длинные зимние ночи, когда восточный ветер, налетая с Обдонья, мутит почерневшее небо и низко над станицей стлал холодные тучи, сиживал Гаврила возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредил тот, незнакомым, окающим говорком несвязно о чем-то рассказывая; подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди, в голубые веки закрытых глаз, обведенных сизыми подковами. И когда с выцветших губ текли тягучие стоны, хрипая команда, безобразные ругательства и лицо искажалось гневом и болью, — слезы закипали у Гаврилы в груди. В такие минуты жалость приходила непрощеная.

Видел Гаврила, как с каждым днем, с каждой бессонной ночью бледнеет и сохнет возле кровати старуха, примечал и слезы на щеках ее, вспаханных морщинами, и понял, вернее — почувствовал сердцем, что невыплаканная любовь ее к Петру, покойному сыну, пожаром перекинулась вот на этого недвижимого, смертью зацелованного, чьего-то чужого сына...

Заезжал как-то командир проходившего через станину полка. Лошадь у ворот оставил с ординарцем, сам взбежал на крыльцо, гремя шашкой и шпорами. В горнице шапку снял и долго молча стоял у кровати. По липу раненого бродили бледные тени, из губ, сожженных жаром, точилась кроввица. Качнул командир преждевременно поседевшей головой, затуманясь и глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал:

— Побереги товарища, старик!

— Побережем! – твердо ответил Гаврила.

Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурый глаза, и услышал Гаврила голос, паутинно-скрипучий:

— Это ты, старик?

— Я.

— Здорово меня обработали?

— Не приведи Христос!

Во взгляде, прозрачном и неуловимом, почудилась Гавриле усмешка, беззлобно-простая.

— А ребята?

— Энти того... закопали их на плацу.

Молча пошевелил по одеялу пальцами и перевел взгляд на некрашенные доски потолка.

— Звать-то тебя как будем? – спросил Гаврила.

Голубые с прожилками веки устало опустились.

— Николай.

— Ну, а мы Петром кликать будем... Сын у нас был... Петро... – пояснил Гаврила.

Подумав, хотел еще о чем-то спросить, но услышал ровное, в нос дыхание и, удерживая руками равновесие, на цыпочках отошел от кровати.

* * *

Жизнь возвращалась к нему медленно, словно нехотя. На другой месяц с трудом поднимал от подушки голову, на спине появились пролежни.

С каждым днем с ужасом чувствовал Гаврила, что кровно привязывается к новому Петру, а образ первого, родного, меркнет, тускнеет, как отблеск заходящего солнца на слюдяном оконце хаты. Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость... Уходил на баз, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату, молча топтался у изголовья кровати, негнушными пальцами неловко поправлял наволочку подушки и, перехватив сердитый взгляд старухи, смиренно садился на скамью и притихал.

Старуха поила Петра сурчиным жиром, настоем целебных трав, снятых весной, в майском цвету. От этого ли или от того, что молодость брала верх над немощью, но раны зарубцевались, кровь красила пополневшие щеки, лишь правая рука, с изуродованной у предплечья костью, срасталась плохо: как видно, отработала свое.

Но все же на второй неделе поста в первый раз присел Петро на кровати сам, без посторонней помощи, и, удивленный собственной силой, долго и недоверчиво улыбался.

Ночью в кухне, покашливая на печке, шепотом:

— Ты спишь, старая?

— А что тебе?

— На ноги подымается наш... Ты завтра из сундука Петровы шаровары достань... Приготовь всю амуницию... Ему ить надеть нечего.

— Сама знаю! Я ить надясь достала.

— Ишь ты, проворная!.. Полушубок-то достала?

— Ну, а то телешом, что ли, парню ходить!

Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил и, торжествуя, поднял голову:

— А папах? Папах небось забыла, старая гусыня?

— Отвяжись! Мимо сорок разов прошел и не спотыкнулся, вон на гвозде другой день висит!..

Гаврила досадливо кашлянул и примолк.

Расторопная весна уже турсучила Дон. Лед почернел, будто источенный червями, и ноздревато припух. Гора облысела. Снег ушел из степи в яры и балки. Обдонье млело, затопленное солнечным половодьем. Из степи ветер щедро кидал запахи воскресающей полынной горечи.

Был на исходе март.

* * *

— Сегодня встану, отец!

Несмотря на то что все красноармейцы, переступавшие порог Гаврилиного дома, глянув на его волосы, опрятно выбеленные сединой, называли его отцом, на этот раз Гаврила почувствовал в тоне голоса теплую нотку. Казалось ли ему так, или действительно Петро вложил в это слово сыновью ласку, но Гаврила густо побагровел, закашлялся и, скрывая смущенную радость, пробормотал:

— Третий месяц лежишь... Пора уж, Петя!

Вышел Петро на крыльцо, ходульно переставляя ноги, и чуть было не задохнулся от избытка воздуха, втолкнутого в легкие ветром. Гаврила поддерживал его сзади, а старуха томашилась возле крыльца, утирая завеской привычные слезы.

Подвигаясь мимо нахохленной крыши амбара, спросил названный сын — Петро:

— Хлеб отвез тогда?

— Отвез... — нехотя буркнул Гаврила.

— Ну, и хорошо сделал, отец!

И опять от слова «отец» потеплело у Гаврилы в груди. Каждый день ползал Петро по двору, прихрамывая и опираясь на костыль. И отовсюду — с гумна, из-под навеса сарая, где бы ни был, — провожал Гаврила нового сына беспокойным, ищущим взглядом. Как бы не остушился да не упал!

Говорили между собою мало, но отношения увязались простые и любовные.

Как-то, дня два спустя после того, как в первый раз вышел Петро на двор, перед сном, уминаясь на печке, спросил Гаврила:

— Откель же ты родом, сынок?

— С Урала.

— Из мужицкого сословия?

— Нет, из рабочих.

— Это как же? Рукомесо имел какое, навроде чеботарь али бондарь?

— Нет, отец, я на заводе работал. На чугунолитейном заводе. С мальства там.

— А хлеб забирать это как же пристроился?

— Из армии послали.

— Ты, что же, у них за командира был?

— Да, им был.

Было трудно спрашивать, но к этому вел:

— Значится, ты партийный?

— Коммунист, — ответил Петро, ясно улыбаясь.

И от улыбки этой бесхитростной уже не страшным показалось Гавриле чуждое слово.

Старуха, выждав время, спросила с живостью:

— А семья-то есть у тебя, Петюшка?

— Ни синь пороха!.. Один, как месяц в небе!

— Родители, должно, померли?

— Еще махоньким был, лет семи... Отца при пьянке убили, а мать где-то таскается...

— Эка сучка-то! Тебя, жалкенького, стало быть, кинула?

— Ушла с одним подрядчиком, а я при заводе вырос.

Гаврила свесил с печки ноги, долго молчал, потом заговорил, отдельно, медленно:

— Что ж, сынок, коли нету у тебя родни, оставайся при нас... Был у нас сын, по нем и тебя Петром кличем... Был, да былшем порос, а теперь вот двое с старухой кулюкаем... За это время сколько горя с тобой натерпелось; должно, от этого и полюбился ты нам. Хучь и чужая в тебе кровь, а душой за тебя болишь, как за рóдного... Оставайся! Будем с тобой возле земли кормиться, она у нас на Дону плодovitая, щедрая... Справим тебя, женим... Я свое отжил, правь хозяйством ты. По мне, лишь бы уважал нашу старость да перед смертью в куске не отказывал... Не бросай нас, стариков, Петро...

За печкой верещал сверчок, трескуче и нудно.

Под ветром тосковали ставни.

— А мы со старухой тебе уже невесту начали приглядывать!.. — Гаврила с деланной веселостью подмигнул, но дрогнувшие губы покривились жалкой улыбкой.

Петро упорно глядел под ноги в выщербленный пол, левой рукой сухо выстукивал по лавке. Звук получился волнующий и редкий: тук-тик-так! тук-тик-так!.. тук-тик-так!..

Как видно, обдумывал ответ. И, решившись, оборвал стук, тряхнул головой:

— Я, отец, останусь у вас с радостью, только работник из меня, сам видишь, плоховатый... Рука моя, кормилица, не срастается, стерва! Однако работать буду, насколько силос хватит. Лето поживу, а там видно будет.

— А там, может, навовсе останешься! — закончил Гаврила.

Прялка под ногою старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть. Баюкала ли, жите ли привольное сулила размеренным, усыпляющим стуком — не знаю.

* * *

Вслед за весной пришли дни, опаленные солнцем, курчавые и седые от жирной степной пыли. Надолго стало ведро. Дон, буйный, как смолоду, бугрился вихрастыми валами. Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонье, зеленовато-белесое, насыщало ветер медвяным запахом цветущих тополей, в лугу зарею розовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами по-девичьи перемигивались зарницы, и ночи были короткие, как зарничный огневый всплеск. От длинного рабочего дня не успевали отдыхать быки. На выгоне пасся скот, вылинявший и ребристый.

Гаврила с Петром жили в степи неделю. Пахали, боронили, сеяли, ночевали под арбой, одеваясь одним тулупом, но никогда не говорил Гаврила о том, как крепко, незримой путой, привязал к себе его новый сын. Белокурый, веселый, работающий, заслони́л собою образ покойного Петра. О нем вспоминал Гаврила все реже. За работой некогда стало вспоминать.

Дни шли воровской, неприметной поступью. Подошел покос.

Как-то с утра провозился Петро с косилкой. На диво Гавриле оправил в кузне ножи и сделал новые, взамен поломанных, крылья. Хлопотал над косилкой с утра, а смерклось — ушел в исполком: позвали на какое-то совещание. В это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусленный и старый, адрес на имя Гаврилы: с передачей товарищу Косых, Николаю.

Томимый неясной тревогой, Гаврила долго вертел в руках конверт с расплывчатыми буквами, размашисто набросанными чернильным карандашом.

Поднимал и глядел на свет, но конверт ревниво хранил чью-то тайну, и Гаврила невольно чувствовал нарастающую злобу к этому письму, изломавшему привычный покой.

На мгновение пришла мысль — изорвать его, но, подумав, решил отдать. Петра встретил у ворот новостью:

— Тебе, сынок, письмо откель-то.

— Мне? – удивился тот.

— Тебе. Иди читай!

Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:

— Откель оно пришло?

— С Урала.

— От кого прописано? – полюбопытствовала старуха.

— От товарищей с завода.

Гаврила насторожился.

— Всчет чего же пишут?

У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:

— Зовут на завод... Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял.

— Как же?.. Стало быть, поедешь? – глухо спросил Гаврила.

— Не знаю...

* * *

Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозёмь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землёю сровнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян!..

На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:

— Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод... Тянет, душу мутит...

— Аль плохо живется?..

— Не то... Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок, а теперь рабочие, какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги... Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают... Как же я могу жить тут? А совесть?..

— Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.

— Чудно говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!

— Не держу. Поезжай!.. – бодрясь, ответил Гаврила. – Старуху обмани... скажи, что возвратишься... Поживу, мол, и вернусь... а то затоскует, пропадет... один ить ты у нас был...

И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:

— А может, в самом деле возвратишься? А? Неужли не пожалеешь нашу старость, а?..

* * *

Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов.

Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.

— На этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенка. – Он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни. – Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдешь.

Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки.

— Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас... – И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко, до крика повысил голос: — Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе... Не забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..

Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги.

— Ворочайся!.. – цепляясь за арбу, кричал Гаврила.

«Не вернется!..» – рыдало в груди невыплаканное слово.

В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.